

A detailed oil painting of a man and a woman in 19th-century attire. The man, in the foreground, has a beard and is wearing a dark blue military uniform with gold buttons and a sash. He is holding a small object in his hand. The woman, with long brown hair, is wearing a white blouse with a lace collar and a dark vest. They are standing in a field with a wooden house in the background.

Анна и кочерга

Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев
Анна и кочерга
Серия «Исторические
детективы», книга 4

*<https://litres.ru/73857151>
SelfPub; 2026*

Аннотация

История "Анна и кочерга" начался 1847 году, в Российской империи. Молодой штабс-капитан Алексей Воронов возвращается в родовое имение Отрадное, чтобы обнаружить: его разорили. Управляющий-немец ворует, крестьяне в долгах, а соседний помещик, надворный советник Стрешнев, скупает земли вокруг, явно метя захватить усадьбу. Алексей клянётся спасти наследие предков — и ввязывается в опасную игру, ему помогала Анна.

Но судьба подкидывает ему не только врагов. На ярмарке он спасает от гибели загадочную красавицу Анну Стрешневу — племянницу своего недруга. Девушка умна, дерзка, играет на фортепиано и хранит страшную тайну: её дядя уморил её отца. И у неё есть дневник, способный устранить...

«Анна и кочерга» — это не дамский роман. Это детектив в декорациях XIX века, семейная сага с исторической точностью и

психологическая драма, от которой плачут мужчины и замирают женщины.

Когда кажется, что всё кончено — война только начинается. Иногда её ведут железом. А иногда — железным прутом у камина.

Содержание

Глава 1. Возвращение в пепел.	5
Глава 2. Хозяйство, хитрость и первая рана сердца.	21
Глава 3. Узел, который связывает.	36
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Кожедеев

Анна и кочерга

Глава 1. Возвращение в пепел.

Октябрь 1847 года выдался на редкость скверным. Мелкий косой дождь, какой бывает только в смоленских краях, сек лицо, превращал проселочную дорогу в месиво из чернозема и конского навоза. Тарантас, подаренный отставным ротмистром на прощание, утонул в грязи по самые ступицы. Кучера Ефима, старого солдата с нашивкой за Севастопольскую кампанию, выругался в десятый раз и хлестнул пристяжную.

— Господин штабс-капитан, — обернулся Ефим, — до Отрадного версты две, а ночь на носу. Не ровен час — волки.

Алексей Воронов приоткрыл запотевший плащ. Ему было двадцать шесть, но глаза смотрели лет на тридцать пять — устало, пристально, с той холодной внимательностью, которую дают не годы, а потери. Он провел ладонью по щетинистому подбородку (с детства брился плохо, мать смеялась: «чтобы пупок развязать — и то порежешься»), вздохнул и сказал:

— Пусть лучше волки, чем то, что я видел в Петербурге. Поехали.

Имение Отрадное стояло на семи ветрах — на высоком берегу реки Угры, той самой, по которой когда-то стояли войска Ивана Грозного. Дед Алексея, Петр Иванович Воронов, сподвижник Суворова, выбрал это место не случайно: из окон барского дома открывался вид на три губернии. В ясный день, говорили, можно было различить купола Калуги.

Но сейчас, когда тарантас выкарабкался на пригорок, Алексея ударила не красота, а запустение.

Ворота, когда-то украшенные львиными масками, висели на одной петле. Конюшня наполовину разобрана на дрова. Барский дом, белый колонный особняк в стиле ампир, напоминал скелет: штукатурка обвалилась пластами, два окна заколочены крест-накрест, в третьем — разбита рама. Из трубы шел жидкий дым, будто дом курил махорку.

— Ефим, — тихо спросил Алексей, — где мои березы? Отец при мне сажал аллею.

— Порубали, барин. Ваш управляющий продал лесопилке на доски. Прошлой зимой.

— Как его зовут?

— Карл Карлович Мюллер. Старый немец.

Алексей вспомнил: отец взял Мюллера в 1835 году, сразу после холеры. Тот был тихий, забитый, с красными глазами и вечно мокрыми усами. «Надежный», — сказал тогда отец. «Жадный», — добавила мать. И оказалась права, как всегда.

На крыльцо вышел сам Мюллер — в жакете с чужого пле-

ча, в шлепанцах на босу ногу, с подносом в руках. На подносе стоял помятый самовар и две фарфоровые чашки из сервиза, который Алексей помнил с детства (мать называла его «севрским», хотя на самом деле это был поддельный Тверской фарфор, но память не обманешь).

— Господин Воронов, — затараторил немец ломаным языком, — как же мы ждали... Я тотчас велю приготовить голубцов по-берлински, госпожа моя уже ставит тесто...

— Карл Карлович, — перебил Алексей, спрыгивая в грязь. Сапоги чавкнули. — Почему дом не топлён?

Мюллер заморгал. Красные глаза забегали.

— Дрова, сударь... Дрова нынче дороги. Угодья проданы частью.

— Каким угодьям? Какие продажи? У меня нет доверенности.

Немец побледнел так, что веснушки выступили точками. Он поставил поднос на ржавые перила, полез в карман жилета и извлек грязный конверт.

— Покойный батюшка, царство небесное, перед смертью подписали... Год назад. Вексель на имя господина Стрешнева. И залог — вот угодья, значит...

Алексей взял конверт, как берут дохлую мышь — через платок.

— Аркадий Петрович Стрешнев? Сосед?

— Он самый-с. Приезжал через месяц после похорон, плакал, поминал батюшку, а потом говорит: «Должок, лю-

безный Карл Карлович, надобно обслуживать». И забрал лесопильню, пасеку и три деревни.

— Три деревни? — Алексей повернулся к Ефиму. Тот стоял, сжимая кнут, как ружье. — Ефим, какие деревни?

— Грибаново, Зайцево и Плоское, — выдохнул кучер. — Сто двадцать душ. Мужских.

Мир зашатался. Алексей прислонился к колесу тарантаса, вдыхая запах дегтя и гнилой соломы. В голове звенело: «сто двадцать душ». Это не просто цифра. Это крестьяне, которые ходили на барщину к его деду, пахали землю, умирали от чахотки и строили эту проклятую лесопильню.

Отец учил его верховой езде, когда Алексею было семь лет. Не в манеже — в чистом поле. «Дворянин не тот, кто умеет подписать вексель, — говорил батюшка, — а тот, кто не падает с седла в крови». Но Алексей упал. Лошадь, белая кобыла по кличке Волна, чего-то испугалась — то ли змеи, то ли собственной тени. Полетел вверх ногами, нога запуталась в стремях, протатило по камням. Правое колено разбито в мясо, рубаха в клочья, нос разбит.

Мать бежала через поле, подолом утирая ему щеки. «Алешенька, зачем же так? Он же маленький!» Отец, высоченный, седой, смотрел сверху вниз: «Встань». Алексей захрипел, попытался — упал. «Встань, говорю». Поднялся на дрожащих ногах, выплюнул песок. «Теперь садись обратно». И посадил на Волну. Кобыла всхрапнула, но пошла шагом. С тех пор Алексей боялся только одного — показать страх. Всё

остальное — гордость, обида, паника — прятал в кулак.

(Интересный факт: в 1840-е годы в России было модно держать английских чистокровных лошадей. Отец Воронова же предпочитал орловских рысаков, выведенных графом Орловым. Волна была помесью с арабским скакуном — оттого и нервная.)

В 1832 году отец отдал Алексея в пансион при Царско-сельском лицее (не том, где учился Пушкин, а новом, для детей обедневших дворян). Там Шурик — так его звали однокашники — терпел насмешки за калужский говор («квакает, как лягушка»). Директор, отставной полковник ***, поощрял «благородные состязания». То есть мальчишки лупили друг друга учебными шпагами с затупленными концами, и это считалось фехтованием.

Однажды старшеклассник Лопухин, грузный и рыжий, обозвал Алексея «смердом». И добавил что-то про мать. Алексей в тот день что-то ел на обед — гороховый суп, который ненавидел до колик. И вдруг горох превратился в огонь.

Дуэль назначили в спортзале, при свидетелях. Лопухин фехтовал по-французски — эквилибристика, пируэты. Алексей — по-русски: жестко, прямо, без поклонов. Первый удар — и шпага противника вылетела. Лопухин заехал ему в челюсть кулаком (по правилам нельзя, но кому какое дело?). Алексей ответил — и был таков: три дня в лазарете с сотрясением. Но репутация была сделана. «Воронов — боец», — шептались за спиной. Он впервые понял: честь не покупают,

честь отбивают.

(Любопытный факт: в императорских пансионах того времени детей учили не столько наукам, сколько «муштре и покорности». Но именно там зарождались тайные общества — кружки, где мальчишки читали запрещенного Полежаева и спорили о Хомякове. Алексей был в одном из таких, но быстро разочаровался: болтовни много, дела мало.)

Учился Алексей посредственно. Латынь ненавидел, греческий терпеть не мог, историю запоминал как набор анекдотов. Но однажды учитель математики, старый немец Готлиб Федорович, вызвал его к доске — решить задачу про оборок и процент. Алексей, который от скуки чертил на полях чертиков, вдруг взял и вывел формулу, которой сам Готлиб не знал. «Ах, Готт мит унс, — сказал немец, — вы, барин, или гений, или безумец».

Математика была для него прозрачным лесом, где каждая цифра — дерево, а действие — тропинка. Позже, в полку, этот талант помогал ему вычислять артиллерийские залповые таблицы быстрее любого штаб-офицера.

А тайные ходы — это особая страсть. В усадьбе Отрадное со времен Суворова существовал подземный коридор от барского дома к часовне в дубовой роще. Дед сделал его для защиты от разбойников, отец запустил. Алексей, в возрасте двенадцати лет, случайно нашёл люк в буфетной, пролез в пыльную темноту и брел два часа, пока не уперся в заржавевшую решетку. Страшно было до колик — но интересно

до жути. Он полюбил скрытность. Стал замечать, что взрослые говорят одно, а думают другое, что жандармы в пансионе (да-да, там они тоже были) записывают каждого. И научился читать по губам.

(Забавный исторический факт: в середине XIX века многие русские усадьбы имели «ходы для побега» на случай крестьянских бунтов или пожара. Но чаще всего эти ходы использовали любовники и воры.)

В девятнадцать лет, сразу после смерти отца (от разрыва сердца, узнав о проигранном иске), Алексей пошел в армию. Не в гвардию — туда брали по протекции, а в армейскую пехоту, 33-й егерский полк, стоявший под Вильно. Мать плакала, говорила: «Зачем тебе это, ты же барин», но Алексей уже знал: дворянством сыт не будешь. Нужна карьера.

Служба была грязной, тяжелой и бессмысленной — на первый взгляд. Подъем в 5 утра, развод караулов, муштра, сквозняки в казармах. Но были и хорошие дни: выезды на маневры, пирушки с офицерами, споры о Гоголе и Белинском. Алексей дослужился до штабс-капитана — потолок для человека без связей. И тут случилось.

Поручик Сергей Хвощинский, смазливый поляк из древнего рода, подставил его. На краденном обозе с провиантом стояла печать Алексея (Хвощинский украл ключ, когда тот спал после попойки). Ревизия — и вот уже Воронова вызывают к полковнику. «Ты, братец, или платишь три тысячи из своего кармана, или марш под суд». Друзья, которые ещё

вчера пили с ним брудершафт, отвернулись. Только старый еврей Арон, полковой маркитант, помог: ссудил деньги под расписку.

Алексей взял отставку, не простившись с полком. Хвощинский через год спился и замерз насмерть в кювете — такие были времена.

(Деталь: солдаты Николаевской армии служили 25 лет. Офицерам же жилось легче, но «шпицрутены» и «зеленые улицы» — сквозь строй палок — тогда отменили только в 1845-м. Алексей был свидетелем казни дезертира — больше никогда не мог есть говядину.)

На следующий день после приезда Алексей решил нанести визит соседу. Не с поклоном — с разведкой.

Имение Стрешнева, «Высокое», стояло в пяти верстах. Это была настоящая крепость: новый кирпичный дом с башенками, оранжерея с ананасами, конный завод орловских рысаков и — страшно сказать — собственный телеграфный аппарат, соединенный с уездом (редкость в 1847 году, такие были только у губернаторов).

Аркадий Петрович Стрешнев встретил в гостиной, обитой малиновым штофом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел на сорок — плотный, гладко выбритый, с маленькими цепкими глазами цвета волжской воды. Пахло от него дорогим табаком, чего-то гаванским, и чуть — серой. Одет в сюртук прусского покроя, на мизинце перстень с изумрудом (по слухам, подарок от самого Бенкендорфа).

— Ах, Алексей Петрович, — раскинул он руки для объяснений. — Молодость, молодость! Ваш батюшка был умнейшим мужчиной. Жаль, издержался в карты.

— Отец не играл в карты, — сухо ответил Алексей.

— Ах, ну да, ну да. Векселя, займы, вы же понимаете — такое дело. Кстати, о деле. — Стрешнев щелкнул пальцами, лакей принес поднос с бумагами. — Ваш долг, с учетом процентов, составляет на сегодня...

Он назвал сумму. Алексей внутренне похолодел. Это была цена имения, умноженная на три. Стрешнев явно не хотел денег — он хотел Отрадное.

— Я найду средства, — сказал Алексей.

— О, я уверен. — Стрешнев улыбнулся, но глаза остались холодными. — Только не очень долго, хорошо? Знаете, в нашей губернии такие земли, как ваши... быстро переходят в хорошие руки.

И он многозначительно постучал костяшками по столу. Медный звон — под столешницей, понял Алексей, что-то спрятано. Сейф? Или оружие?

Ночью Алексей не спал. Он сидел в кабинете отца, где пахло засохшими листьями и сургучом. Рояль пылился в углу — мать играла Шопена, пока у нее не отнялись руки (паралич после третьих родов). Портрет отца — тот самый, где он в мундире 1812 года (хотя отцу тогда было десять лет, художник льстил) — смотрел с упреком.

Он развернул вексель. Бумага плотная, гербовая, с печат-

тью уездного суда. Дата — 6 августа 1846 года. Подпись отца — твердая, без дрожи. Но Алексей знал: отец писал иначе — с завитушками, как в молодости. Эту подпись будто скопировали. Или ему подсунули бумагу уже больным, в горячке. Отец умер 15 августа. Всего девять дней между подписанием и смертью.

Он взял лупу, которую дед привез из Италии. Подпись. Буква «В» — слишком ровная, не отцовская. И буква «о» — у отца она была раскрытой, как чаша. Здесь — закрытая.

— Подделка, — прошептал Алексей в темноту. — Чистейшая подделка.

Но как доказать? Где взять эксперта? Стрешнев дружит с исправником, судьей, почтмейстером. Алексей один.

Он зажег свечу, подошел к книжному шкафу, отодвинул том «Истории государства Российского» Карамзина. За ним — пустота. Пальцы нашли шершавый камень. Тайный ход. Тот самый, с детства.

В щель под дверью просунулась записка. Алексей поднял, развернул. Почерк — мелкий, бисерный, женский. Пахло фиалками.

«Не верьте немцу. Ищите в часовне. Спрятано то, что погубит хищника. Я знаю, кто вы. Вы не знаете меня. Но скоро увидимся. — Тень»

Алексей вышел в коридор — пусто. Только тень метнулась за угол, и полы юбки, черные, почти траурные. Горничная? Или сама...

Той же ночью, после ухода таинственной «Тени», Алексей не мог заснуть. Он сидел в кресле отца, перелистывал полуистлевший семейный альбом и наткнулся на дагерротип 1825 года. На медной пластине, покрытой слоем серебра, застыл сухой, как корень старой сосны, старик в глухом сюртуке с Георгиевским крестом на шее. Петр Иванович Воронов, дед.

В 1794 году (ещё при Екатерине) молодой унтер-офицер Петр Воронов, сын обедневшего рязанского дворянина, состоял в Итальянском походе Суворова. Граф Александр Васильевич, который ночевал в стогу сена и гнал солдат по сорок вёрст в сутки, заметил Воронова в деле при Нови. Там русские разбили французов, а Петр лично зарубил трёх grenadiers, прикрывая отступление батареи.

Суворов, который любил говорить: «Пуля — дура, штык — молодец», — велел позвать молодца. Воронов предстал перед полководцем: лицо в копоти, мундир разорван, левая бровь рассечена, но стоит навытяжку, как струна.

— Откуда, — спрашивает Суворов, — храбрость?

— От отца, ваше высокопревосходительство, — отвечает Воронов. — А отец от деда, а дед — от Бога.

Суворов хмыкнул — он не любил длинных речей — и снял с себя серебряный крест «За взятие Измаила» (при том, что Измаил брали ещё в 1790-м). «Носи, — сказал. — И помни: честь не в мундире, а в позвонках».

И подарил ему золотую табакерку с собственным профи-

лем и надписью: «Петру Воронову — за твёрдость духа. Граф Суворов-Рымникский».

(Любопытный факт: Суворов действительно раздаривал солдатам свои ордена и табакерки, которых за свою жизнь изготовил более сотни. Он считал, что награда должна лежать не в шкатулке, а на груди у того, кто её заслужил.)

В 1801 году, уже при Александре I, Петр Иванович вышел в отставку поручиком. Рана в левое плечо (от штыковой атаки под Цюрихом) гноилась, правая рука почти не двигалась. Суворов к тому времени умер, но память о нём была жива. Император, лично знавший Воронова по смотру в Гатчине, пожаловал ему землю в Смоленской губернии — «для укрепления границ и заселения пустошей».

— Бери, Воронов, — сказал государь. — Но с условием: построишь усадьбу с обороной. Мало ли француз опять полезет.

Так на пустырях, где до этого росли одни берёзы да волки были, появилось Отрадное. Название дал сам Воронов: «Вся жизнь после суворовской сечи — отрада».

Петр Иванович строил по-военному. Дом — из красного кирпича (собственного обжига), стены толщиной в аршин. Окна узкие — бойницы, но с южной стороны расширены, чтобы солнце грело. Подвал — как бункер: там хранились запасы солёной рыбы, крупы и порох (на случай бунта). И — главное — подземный ход к часовне, о котором Алексей знал с детства.

Но дед не был грубым рубакой. Он выписал из Петербурга книги, завёл крестьянскую школу (три класса: чтение, письмо и «Закон Божий»), а по воскресеньям сам читал вслух Суворовские «Науку побеждать». Крестьяне его боялись, но уважали: он не повышал оброк, около себя курить не позволял (терпеть не мог табачного дыма), а баб своих защищал от помещичьих посягательств.

Пётр Иванович был невысок, коренаст, с руками-клещами (несмотря на раненое плечо, зажимал подкову, пока красной не становилась). Лицо — в морщинах, как старая карта, глаза — серые, суворовские — пронзительные, с хитринкой. Говорил коротко, рублеными фразами. Любил вставать в четыре утра, обливаться ледяной водой и есть на завтрак гречневую кашу с луком — солдатскую.

Женился поздно, в сорок один год, на Марье Григорьевне Танеевой, двадцатилетней барышне из соседнего уезда. Она была тонкая, бледная, с усиками на верхней губе, играла на клавесине и терпеть не могла военные истории. Соседи шептались: «Суворовский птенец взял себе кисейную барышню — пропадёт». Но брак оказался счастливым. Марья Григорьевна научила мужа носить чистые рубашки, есть вилкой и не ругаться матом при дамах. А он подарил ей тот самый фарфоровый сервиз с золотыми дубами (позднее Мюллер не постеснялся из него пить — и за это Алексей никогда не простит немца).

Она умерла в 1828 году от чахотки, завещав мужу: «Бере-

ги Алешеньку». Петр Иванович пережил её всего на четыре года, но до последнего ходил на её могилу в часовню — тем самым подземным ходом, который сам и прорубил.

Алексей был подростком, когда дед рассказал ему три главных урока, которые потом станут законом.

Урок первый: про долги.

— Никогда, — Петр Иванович тыкал узловатым пальцем в грудь внука, — не подписывай бумаг, которые не понимаешь. Меня Суворов учил: «Доверяй, но проверяй». У тебя отца нет (Василий Петрович тогда был жив, но дед уже знал, что сын — мот). Ты — старший в роду.

Урок второй: про женщин.

— Барышни — они как огнестрельное оружие. — Дед хитро шурился. — Прекрасны, когда лежат на бархате. Но в руках дуры — убивают своего же. Выбирай ту, с кем в разведку пойдёшь, а не ту, с кем на бал поедешь.

Урок третий: про врагов.

Дед привёл его в подземный ход, зажёл свечу, поставил на ржавую решётку и сказал:

— Враг, которого ты видишь, — дурак. Потому что прятаться не умеет. Бойся того, кто дружит с тобой в лицо, а за спиной считает твои вдохи. В нашем роду был такой — двоюродный брат твоей бабки. Я высек его плетью и прогнал. Он потом донёс на меня в Третье отделение. Спасибо Бенкендорфу — разобрался. Но осадочек остался.

(Историческая справка: Александр Христофорович Бен-

кендорф, шеф жандармов, действительно получал доносы на отставных военных. Но к Воронову относился с уважением — как к суворовскому ветерану.)

Петр Иванович скончался в 1832 году, сидя в том самом кресле, где теперь сидел Алексей. Просто закрыл газету (читал «Северную пчелу»), положил трубку (рододендрон, без табака) и сказал: «Ну вот и всё, Марьюшка, иду».

Тело его везли на кладбище всей губернией. Говорят, старые солдаты, пережившие Измаил и Прагу, становились на колени и целовали гроб. Георгиевский крест, который подарил Суворов, дед завещал Алексею, но не тогда, когда он подрастёт, а «когда докажет, что достоин».

Алексей до сих пор не взял. Крест лежал в тайнике под дубовой доской в кабинете. Вместе с саблей суворовских времён (дар графа, с дарственной грамотой на имя Петра Воронова) и письмом Бенкендорфа, где было написано: «Пётр Иванович, на вас клеветали. Оправдан. Живите с миром».

Дед передал по наследству не только имение, но и систему шпионских уловок:

— Тайный шифр (по суворовскому «Солдатскому лексикону»),

— Список доверенных людей среди крестьян (который отец потерял, но Алексей помнил двоих — Ефима-кучера и слепого псаломщика отца Пафнутия),

— И главное — привычку проверять всё самому.

Стрешнев, которого дед при жизни называл «гадюкой в

чужих эполетах», боялся Петра Ивановича как огня. Но когда старика не стало, сразу начал подтачивать Отрадное — сначала через отца-неудачника, потом через Мюллера.

Алексей поднял глаза на портрет деда в кабинете. Тот был написан в 1826 году художником Тропининым (да, тем самым, что писал Пушкина, только заказ был маленький, скромный). Дед — в отставном сюртуке, с орденами, но без парика. Смотрит прямо в душу. И губы чуть кривятся — будто знает, что задумал Стрешнев, и смеётся над ним.

— Я не подведу, дедушка, — сказал Алексей вслух и сжал край письма Бенкендорфа. — Найду правду. И верну Отрадное.

Он встал, взял саблю из тайника, провёл пальцем по лезвию — острый, чёрт возьми, через сорок лет! — и вышел из кабинета. Не дожидаясь утра, пошёл к часовне. Той самой, где прятался подземный ход. Где, по записке «Тени», лежало что-то, что «погубит хищника».

Ветер качал голые берёзы. Где-то внизу, под землёй, ждала тайна. И Алексей знал: дед одобрил бы.

Глава 2. Хозяйство, хитрость и первая рана сердца.

Алексей проснулся затемно — привычка, оставшаяся от полка. В окна бил серый октябрьский свет, на стеклах — морозные узоры вперемешку с каплями вчерашнего дождя. Он лежал на жесткой кровати в спальне родителей (свою, детскую, Мюллер давно превратил в кладовую для солений) и прокручивал в голове план.

За три дня он понял две вещи:

Мюллер ворует нагло и тупо — счета не сходятся на триста рублей серебром в месяц.

Стрешнев действует умнее — через векселя, подставных лиц и уездную канцелярию.

— Ефим! — крикнул Алексей.

Старый кучер вошел, поскрипывая сапогами. Он уже успел сходить на конюшню, почистить сбрую и переругаться с немецкими работниками.

— Слушай сюда, — Алексей набросал на клочке бумаги список. — Первое: сгоняй в уезд, найди писаря Земскую избу. Фамилия — Смородин. Говорят, у него на Стрешнева есть злость.

— Смородин, — Ефим почесал затылок. — Это который красный, как рак, и ходит с клюкой?

— Он самый. Два года назад Стрешнев отнял у его зятя мельницу.

— Было дело. Тот мужик потом повесился.

— Вот и рычаг. — Алексей придвинул к Ефиму холщовый мешочек. — Там пятнадцать рублей серебром. Скажи: это задаток. Если даст бумаги на Стрешнева — получит столько же.

Ефим взвесил мешочек на ладони, свистнул. За такие деньги можно было купить корову или нанять работника на полгода.

— Барин, а не боитесь? Смородин — человек нервный, может и Стрешневу продать.

— Не продаст. Он вдов, детей нет, зятя помнит. Такие, как он, мстят до гроба. Поезжай.

(Интересный факт: уездные писаря в 1840-е годы были главными носителями компромата. Они вели все «крепостные книги» — записи о купчих, закладных, завещаниях. Взятка писарю стоила в 10 раз дешевле адвоката, а результат был надежнее.)

Через два дня Алексей собрал сход. Крестьяне — мужики в лаптях, ободранных тулупах, с лицами, которые видели и голод 1833 года, и холеру 1840-го — стояли перед барским крыльцом, мяли в руках шапки. Бабы держались сзади, в платках, но любопытные.

Алексей вышел в сюртуке, но без галстука — чтобы не пугать. Рядом — Ефим и бывший полковой писарь Гаврила,

которого Алексей пригласил из Петербурга за пять рублей в месяц (парень был пьяница, но грамотей).

— Мужики, — начал Алексей. — Знаю, вам тяжело. Мюллер драл три шкуры. Теперь будет по-другому.

Из-за спин раздался хриплый голос:

— Как по-другому? Оброк уменьшишь?

Алексей узнал Кузьму Плотникова — мужика с медвежьей силой и языком как бритва. Тот был старостой при отце, но Мюллер его снял.

— Оброк не уменьшу, — сказал Алексей. — Но сделаю так, что у вас будет больше хлеба. Слушайте.

И он начал объяснять четырехпольный севооборот. Вместо старой русской трешки («пар—озимь—яровое») он предлагал: пар, озимь, яровое, пары для трав (клевер, люцерна). Мужики молчали. Потом Кузьма, подумав, сплюнул:

— Барин, это по-немецки? Эдак мы без хлеба останемся.

— Это по-научному, — ответил Алексей. — В Англии так уже двадцать лет сеют. Урожайность выше вдвое.

— Так мы не в Англии.

— А вы попробуйте. На одном поле. Моим риском. Если хуже будет — снесу я вам этот севооборот. Если лучше — поделим прибыль.

Алексей знал: крестьяне не верят словам. Они верят фактам. Поэтому он заранее договорился с тремя дворами (вдовы Марфы, бобыля Ивана и молодого Петра) — они согласились на эксперимент за плату вперёд. Остальные смотрели

с недоверием, но без бунта.

(Историческая справка: первый в России четырехпольный севооборот был введён в имениях графа Шереметева в 1840-х, но крестьяне сопротивлялись десятилетиями. Воронов шёл на риск, но он был оправдан: через год его поля дали урожай на треть выше соседских.)

Самым сложным было восстановление мельницы. Старая, дедова постройке, стояла на речке Смородинке — два колёса, амбар с закромами. Мюллер продал мельничные камни Стрешневу (тот поставил их на своей, новой мельнице), а деревянные шестерни пустил на дрова.

Алексей поехал к Смородину (писарю) не только за бумагами — тот, как местный старожил, помнил, где лежат запасные камни. Смородин, красный, рябой, с клюкой в руке, встретил его в избе, пахнувшей капустой и керосином.

— Воронов? — прищурился. — Похож на деда. Тот тоже прямым ходом шёл.

— Мне нужны камни, Антип Кузьмич. И люди, кто поставит.

Смородин помолчал. Потом достал из-под половицы тетрадь в клеёнчатой обложке и положил перед Алексеем.

— Камни тебе укажу. Только глянь сперва. Это на Стрешнева. Пять лет копил.

Алексей открыл тетрадь. Там были даты, цифры, имена. «15 июня 1843: купил лесопильню у вдовы Харитоновой за 200 руб., а записал за 500. Разница ушла судье Львову». «7

марта 1845: сплавил по реке краденый лес, меченая бирка — моя запись».

Это что, его лес? — спросил Алексей.

— Его. Лесничий заметил, хотел донести, — Смородин повернул клюку, — через неделю лесничего нашли в Оке. Утопленник.

— А вы не боитесь?

Старый писарь усмехнулся беззубым ртом:

— А чего мне бояться? Моя изба на болоте, дороги нет. Стрешнев меня не найдёт. А вы, барин, держите. Может, пригодится.

Алексей взял тетрадь. И дал Смородину двадцать рублей — все, что оставалось от материнского наследства.

(Любопытная деталь: «утопленники» в Смоленской губернии 1840-х были обычным делом. Река Ока считалась «нечистой» — по ней сплавляли плоты и находили тела раз в месяц. Жандармы не любили соваться — «самоубийства, чего уж там».)

Восстанавливая мельницу, Алексей вспомнил детство. Дед показывал ему подземный лаз от часовни не только к дому, но и к мельнице — старый инженерный ход, который прорыли для того, чтобы в случае осады (французы в 1812 году доходили до Калуги) можно было вывезти зерно. Лаз был завален, но Алексей послал двух крестьян — они через неделю откопали вход.

Внутри оказался скелет. Человеческий. С пробитым чере-

пом — пуля калибра 16 линий (солдатское ружьё). На скелете остатки мундира — русский пехотинец 1812 года.

— Десатир, — сказал Ефим, перекрестившись. — Бежал, поди, от Наполеона, а тут... свои поймали.

Алексей велел похоронить останки по-христиански, а лаз велел расчистить. Теперь у него был секретный путь к реке — и возможность, если придётся, бежать или переправлять товар.

(Историческая справка: в 1812 году, во время отступления Наполеона, тысячи русских солдат дезертировали, скрывались в лесах и подземельях. Их находили ещё через полвека.)

Вторая неделя ноября. Успенская ярмарка в селе Богородицком (пять вёрст от Отрадного) была главным событием года. Съезжались купцы из Калуги, Тулы, даже из Москвы. Торговали скотом, шерстью, самоварами, баранками, ситцем. Цыгане воровали лошадей, монахи продавали мощи, шарманщики играли «Соловья» Алябьева.

Алексей поехал на ярмарку с двумя целями: купить плуг (железный, английский — мечта) и присмотреть лошадей. Ефим тащил за ним охапку денег — триста рублей, занятых у старухи-соседки под грабительский процент (11%, но выбора не было).

Они шли по главному ряду, как вдруг — крик, женский визг, топот копыт, треск.

Из-за поворота, сбивая прилавки, вылетела **гнедая ко-

была** без седока. В седле — девушка в амазонке (тёмно-зелёной, с медными пуговицами), лицо белое, глаза распахнутые, волосы выбились из-под шляпки. Она тянула поводья, но лошадь не слушалась — явно понесла.

— Дорогу! — заорал Алексей, оттолкнул Ефима и прыгнул под копыта.

Он схватил повод у самой удилы, повис на нём всем весом. Сапоги заскользили по грязи, его протащило метра три, но лошадь замедлилась, захрапела, встала на дыбы — и замерла.

Девушка удержалась в седле. Только шляпка упала в лужу.

— С ума сошли?! — крикнула она не испуганно, а зло. —

Вы могли погибнуть!

— А вы — разбиться, — выдохнул Алексей, отпуская повод. Посмотрел на неё.

Это была Анна.

Он видел её прежде — мельком, в усадьбе Стрешнева, когда та выходила к крыльцу с книгой в руках. Но близко — никогда.

У неё оказалось лицо не правильное, но прекрасное. Высокий лоб, нос чуть с горбинкой, губы полные, но сжатые в постоянную злость или иронию. Глаза — серые, с искрами, как река зимой. И осанка — гвардейская, хотя она была не старше двадцати.

— Анна Аркадьевна, я полагаю? — спросил Алексей, вытирая грязь с рук.

Она спрыгнула с лошади, подняла шляпку, отряхнула.

— Для вас — Анна Стрешнева. Но если вы друг моего дяди, то можете убираться к чёрту.

— Я не друг. Я — должник, — усмехнулся Алексей. — Но не по своей воле.

Она прищурилась — так, будто что-то взвешивала.

— А, Воронов. Отрадное. Тот самый, который поднял мертвеца с мельницы.

— Скелета, — поправил Алексей.

— Тем хуже для вас. — Она вдруг улыбнулась — остро, не побарышничай. — Мой дядя говорит, вы самодур и фантазёр. Значит, мы, возможно, поладим.

И она, не прощаясь, вскочила в седло и ускакала, оставив Алексея стоять в луже с разинутым ртом.

(Интересный факт: амазонки — женские костюмы для верховой езды — появились в России именно в 1840-е. Девушка в амазонке считалась «синим чулком», эмансипе, но Анне было всё равно. Она ездила как мужчина — «по-кавалерийски».)

Через три дня Алексей, объезжая поля на рассвете, свернул к «Высокому» — не к дому, а к дальней роще, где был общий колодец, про который забыли оба имения. И там, в четыре утра, он увидел её снова.

Анна стояла у сруба с ведром, в простом платье без кринолина, в платке — совсем не похожая на вчерашнюю наездницу. Она умывалась колодезной водой.

— Следите за мной? — спросила, не оборачиваясь.

— Нет. Искал брод. Тут у вас река поворачивает.

— Врёте. — Она повернулась, вытерла лицо подолом. —

Вы ищете правду. Как и я.

— Какую правду?

— О том, почему умер мой отец.

И она рассказала.

Отец Анны, Николай Петрович Стрешнев, был братом жены Аркадия Петровича, то есть дядя пришёлся ей родственником по линии жены, а не по крови. В 1842 году Николай Петрович, помещик средней руки, владелец села Введенское, разорился. То ли карты, то ли неурожай. Он приехал к сестре (матери Анны — Елизавете Григорьевне) и к её мужу, Аркадию Петровичу, просить помощи.

— Дядя дал денег, — сказала Анна. — Но с условием: отец перепишет на него Введенское, а сам останется при нём «управляющим». Через полгода отец умер. Официально — от удара. Неофициально... я слышала разговор на кухне: дядя велел не вызывать доктора три дня. Три дня лихорадки без помощи.

— А мать?

— Мать — тень. Она боится Аркадия. Он держит её на ладанниковых каплях. А меня — как приживалку. Я должна играть на фортепиано для гостей, разливать чай и молчать. Если я выйду замуж без его согласия — он отберёт мою долю наследства. Всё, что осталось от отца.

— Так не женитесь, — сказал Алексей, не думая.

— А если я уже хочу? — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Но не могу сказать кому.

(Любопытный факт: по законам Российской империи, вдова и дочери имели право на 1/7 часть наследства, если не было завещания. Аркадий Петрович, забрав Введенское, оставил Анне формально 200 душ в другой деревне — но управлял ими сам, так что она не видела ни копейки.)

Анна пришла на следующую встречу (у часовни на границе имений) и принесла книгу в кожаном переплёте с замком.

— Это дневник отца. Я нашла его в тайнике за камином. Там — всё. Каждый разговор со Стрешневым, каждый вексель, каждое имя подкупленного судьи.

— Зачем вы мне это показываете?

— Потому что вы единственный, кто не боится дяди. — У неё задрожали губы. — И потому что я... я хочу, чтобы вы победили. Даже если это лишит меня крыши над головой.

Алексей взял дневник. На первой странице было написано: «Я, Николай Петрович, оставляю сие свидетельство для дочери моей Анны. Если со мной что случится, знай: это сделал Аркадий».

— Боже мой, — выдохнул Алексей.

— Не богохульствуйте. — Она улыбнулась сквозь слёзы. — Мне нужно идти. Увидят — дядя запрёт меня в комнате.

— Анна... — Он не удержал. — А спасибо?

— Не благодарите. Отдайте долг — и всё.

Через две недели Алексей заболел. Простудился на мельнице — ноги в воде, ветер с реки. Свалился с жаром, бредил. Ефим позвал доктора Франца Христиановича Бильдерлинга, молодого врача из уезда, немца в третьем поколении, который славился тем, что лечил бедных бесплатно.

Доктор был красив. Высок, рус, с голубыми глазами, в белоснежном халате, с бородкой à la Alexander von Humboldt. Говорил с лёгким акцентом, знал французскую литературу, играл на скрипке.

И Анна — тайно — симпатизировала ему.

Алексей заметил это, когда доктор пришёл на третий раз. Анна сидела у постели Алексея (сбежала из «Высокого» под видом прогулки) и рассеянно теребила кружево платка. Когда вошёл Бильдерлинг, она порозовела.

— Как пульс, Анна Аркадьевна? — спросил доктор, беря Алексея за руку.

— Учащённый, — ответила она, глядя на доктора, а не на больного.

Алексей стиснул зубы. Температура подскочила — на этот раз от гнева.

Вечером, когда все ушли, он попросил остаться Анну и выпалил:

— Вы кокетничаете с этим немцем?

— С каким немцем? — опешила она.

— С Бильдерлингом. Я видел, как вы на него смотрели.

Она рассмеялась — горько, надтреснуто.

— Вы — идиот, Алексей Петрович. Он — мой единственный друг в этом уезде. Он знает, что я храню дневник отца. Он помогал мне расшифровывать записи о лекарствах — дядя травил кого-то мышьяком. И если вы не способны отличить благодарность от влюблённости, то...

Она заплакала. Не громко — молча, отвернувшись к стене.

Алексей почувствовал себя последней сволочью.

— Простите, — сказал он. — Я не... я просто.

— Вы просто ревнивый осёл, — всхлипнула она. — Как все мужчины.

Она ушла, хлопнув дверью. Три дня не приходила.

На четвёртый день Алексей написал ей записку (через Ефима): «Я добуду правду. А вы не бойтесь. И если вам нужен Бильдерлинг — возьмите его. Мне важна победа, не сердце».

Но ответа не было.

Потому что письмо перехватил Стрешнев.

— Дорогая племянница, — сказал он, входя в её комнату без стука (всегда так делал). — Чьи это любезности? А, Воронов. Тот самый должник.

Он разорвал письмо в клочья, а ей велел:

— Сидеть в доме. Неделю. Без фортепиано, без книг, без прогулок. И если я ещё раз узнаю, что вы виделись с этим выскочкой... — Он наклонился к её уху. — Вы знаете тайну вашего рождения.

Она побледнела.

Тайна: Анна была не племянницей Стрешнева, а незаконной дочерью графа Бориса Васильевича Шереметева-младшего, знаменитого богача и бонвивана. Её мать, Елизавета Григорьевна, состояла при графине Шереметевой в качестве компаньонки — и впала в грех. Когда граф узнал о беременности, он сослал Лизу в деревню, выдал её замуж за Николая Стрешнева (брата своей жены) — и откупился деньгами. Анну записали как «дочь Николая и Елизаветы», но в метриках, которые хранились у Аркадия Петровича, стояла пометка «незаконнорождённая».

Если бы тайна вскрылась, Анна лишилась бы всех прав на наследство, даже на те 200 душ, и была бы вышвырнута на улицу.

Стрешнев использовал это как кнут и пряник: «будешь послушна — молчу; пикнешь — пошлю бумаги самому графу».

Алексей не мог оставить Анну взаперти. Он знал: Стрешнев способен держать её неделями, а потом — выдать замуж за старого, жестокого человека (например, за князя Волынского, которому было за шестьдесят, и который любил «супружеские игры с ремнём»).

План родился сам собой. Тайный ход из дома деда — но куда он выводил? Алексей помнил: в детстве он проходил подземельем полтора часа и упёрся в решётку. Но тогда он повернул обратно. А если пойти дальше?

Он взял фонарь, верёвку и два конверта с документами Смородина — на случай, если придётся подкупать стражу.

Четыре часа под землёй. Крысы, плесень, вода по щиколотку. Один раз на него упала сорвавшаяся с потолка кирпичная пыль — и он чуть не задохнулся. Но в конце — деревянная дверь, обитая железом. Замок висел старый, петли заржавели. Алексей ударил ногой три раза — дверь поддавалась.

Он оказался в погребе усадьбы «Высокое». Рядом — лестница на кухню.

— Анна, — прошептал он, поднимаясь в темноте.

Она спала в кресле, голову положив на сложенные руки. Заметила его, но не вскрикнула — только зажала себе рот ладонью.

— Вы... вы сумасшедший.

— Давно, — согласился Алексей. — Идите за мной. Быстро.

Она взяла дневник отца, платок, сапоги на тонкой подошве — и они исчезли в подземном ходе. Через час она уже сидела в Отрадном, пила горячий чай с мятой и дрожала.

— Теперь дядя убьёт нас обоих, — сказала она.

— Нет, — ответил Алексей. — Теперь мы его убьём. Морально. А потом — юридически. У меня есть план.

— Какой?

— Самый опасный. — Он взял её за руку. — Но с вами — я справлюсь.

Она не отняла руки.

Глава 3. Узел, который связывает.

Всю неделю после побега Анны Алексей просидел в кабинете, разбирая бумаги. Дневник Николая Петровича Стрешнева (отца Анны) оказался сокровищем — и бомбой одновременно. Там были не только записи о махинациях с векселями, но и прямые указания на казначейские злоупотребления Аркадия Петровича.

Алексей выписал на отдельный лист самое страшное.

«12 марта 1843 года. Аркадий похвастался за ужином: он договорился с уездным казначеем Ключевым. Те берут из казны деньги на строительство дорог, а в отчёт пишут „убыль от наводнения“. Тысяч тридцать в год. Доля Ключева — треть. Моя — за молчание — сто рублей в месяц. Я не взял. Аркадий разозлился.»

«1 августа 1844 года. Ключев уволен за пьянство. На его место пришёл Некрасов, молодой, честный. Аркадий говорит: „Некрасова надо приручить. Если не возьмёт деньгами — возьмёт женщиной“. Спрашивает у меня, нет ли на примете крепостной актрисы.»

«23 ноября 1845 года. Сегодня Аркадий проговорился: у него в сейфе хранятся „трофейные“ векселя на полмиллиона. Это казённые деньги, которые он прокрутил через подставные подряды. Если бы Ревизионная комиссия узнала... Но комиссия в кармане.»

Алексей отложил дневник. Пальцы дрожали. Полмиллиона рублей — это состояние, с которым можно купить полгубернии. И Стрешнев не просто воровал — он создал преступную сеть, куда входили чиновники, судьи, даже один жандармский полковник (фамилия была зачёркнута, но Анна говорила, что это Бердяев, родственник самого Бенкендорфа).

— Ефим, — позвал Алексей. — Ты знаешь, где уездный казначей Некрасов сейчас?

— А кто ж его знает, барин. Говорят, его перевели в Кострому. После того, как он подсчёты не сошлись.

— Подсчёты не сошлись... — Алексей усмехнулся. — Значит, Стрешнев его всё-таки убрал. Не убил, но вышвырнул.

(Историческая справка: в 1840-е годы казначейские злоупотребления в провинции были нормой. Ревизии проводились раз в три-пять лет, и если чиновник делился с ревизором — его не трогали. Только самые наглые воры попадали под суд. Стрешнев был умнее: он крал, но не жадничал, и ревизоры закрывали глаза.)

Алексей мог бы отправить копии дневника губернатору. Но тогда:

— Анна осталась бы без наследства (дневник — улика против её дяди, но и напоминание о её незаконнорождённости),

— Следствие тянулось бы годами,

— И главное — Стрешнев, припертый к стене, мог уничтожить все улики и сбежать за границу (у него был австрийский паспорт на имя «фон Гофман», это Анна случайно видела).

Алексей придумал другое. Шантаж наоборот — не «я тебя уничтожу», а «я тебя отпущу, если ты вернёшь мне невесту».

Он изложил план Анне. Та слушала, кусая губу.

— Вы предлагаете моему дяде сделку? Он — гидра. Отрубишь голову — вырастут две.

— Я предлагаю ему позор, — ответил Алексей. — Если он согласится на брак и вернёт хотя бы часть украденного — молчу. Если нет — завтра же губернатору уходит заказное письмо.

— А он не убьёт нас раньше, чем письмо уйдёт?

— У него сегодня званный ужин. Восемь гостей из Петербурга. Он не рискнёт.

— Вы безумец.

— Ваш безумец, — поправил Алексей.

Она впервые за долгое время улыбнулась настоящей улыбкой — не колкой, не защитной, а тёплой, как печка в зимнюю стужу.

На следующий день Алексей поехал в «Высокое». Один. Без оружия — только папка с бумагами.

Стрешнев принял его в оранжерее. Там было душно, пахло лимонами и землёй. Стеклопанная крыша пропускала мутный ноябрьский свет. Аркадий Петрович сидел в плетёном

кресле, курил сигару, на столике перед ним стоял кофе и коньяк.

— А, Воронов, — сказал он не поднимаясь. — Жених? Или убийца?

— И то, и другое, — Алексей положил папку на стол. — Сначала прочтите. Потом поговорим.

Стрешнев читал. Сначала небрежно, потом впился глазами. Лицо его менялось: с розового на белое, с белого на серое. Он дочитал последнюю страницу, закрыл папку, положил дрожащую руку на стол.

— Это... откуда у вас?

— Дневник вашего шурина, Николая Петровича. Анна дала. — Алексей сел напротив. — У меня три копии. Одна у друга в Петербурге, другая у нотариуса, третья — в надёжном месте. Если со мной что-то случится — копии уйдут к губернатору, министру финансов и в «Северную пчелу».

— Вы блефуете.

— Проверьте.

Стрешнев помолчал. Взял кофе, но пить не стал — только поставил чашку на блюдце, и та звякнула.

— Чего вы хотите?

— Свободы Анны. Брак со мной. Без вашего согласия венчание не разрешат — вы её опекун.

— Опекун, — повторил Стрешнев с горечью. — Да я её ненавижу. Она — напоминание о том, что мой брат был слабаком.

— И всё же. Даёте согласие?

— А если нет?

— Тогда завтра же вы — герой скандальной хроники. «Надворный советник Стрешнев уличен в казнокрадстве». Вы знаете, что бывает с такими? Лишение чинов, ссылка в Сибирь, конфискация имущества.

Стрешнев усмехнулся — сухо, как треск полена.

— Вы наивны, Воронов. У меня покровители в Петербурге. Тот же граф Орлов. Меня не тронут.

— А газеты? — спросил Алексей. — А слухи? Ваша репутация в дворянском собрании? Вы знаете, что ваши соседи уже шепчутся? А после статьи — заговорят в голос. И ваши покровители отвернутся. От дурной славы спасаются, как от чумы.

Стрешнев встал, подошёл к стеклянной стене, упёрся лбом в холодное стекло.

— Хитрый вы, — сказал он тихо. — Как дед. Тот тоже умел нажимать на больное.

— Учился, — ответил Алексей.

Долгая пауза. В оранжерее зажужжала муха — ноябрьская, полусонная.

— Хорошо, — сказал Стрешнев, не оборачиваясь. — Брак разрешаю. Но. — Он резко повернулся. — Вы подпишете обязательство: никогда не обнародовать эти бумаги. Ни при моей жизни, ни после моей смерти. И вернёте мне дневник.

— Дневник — верну. Копии — останутся у меня. Как гарантия.

— А если я умру?

— Тогда копии сожгу. Они мне не нужны. Мне нужна только Анна.

Стрешнев посмотрел на него с нечитаемым выражением. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение — и тут же погасло.

— Вы дурак, Воронов. Из-за бабы — идти на риск.

— Из-за чести, — поправил Алексей. — Анна — часть моей чести.

Они ударили по рукам. Стрешнев велел подать чернила и гербовую бумагу. Алексей написал подписку, вложил её в папку к дневнику. Стрешнев спрятал всё в свой сейф — тот самый, что был вмонтирован в стол.

— Венчание — через неделю, — сказал Стрешнев. — В церкви Покрова в вашем Отрадном. И чтобы никаких гостей. Я привезу Анну и её мать. Свидетели — мои люди.

— Свидетели — мои и Анны, — возразил Алексей. — Ефим и доктор Бильдерлинг. Или сделка отменяется.

Стрешнев скрипнул зубами, но согласился.

Анна уже жила в Отрадном — формально как «гостья», но на самом деле как невеста. Алексей поселил её в комнате матери, той самой, с видом на реку. По вечерам они играли в шахматы, спорили о Гоголе и Прудоне, и один раз она прочитала ему стихи Баратынского наизусть — о том, что «лю-

бовь есть сон, а смерть — пробужденье».

— Зачем вы читаете мне такие печальные стихи накануне свадьбы? — спросил Алексей.

— Чтобы помнить: счастье хрупко, — ответила Анна. — Мы идём на сделку с дьяволом. Вы думаете, Стрешнев простит? Он будет ждать момента, чтобы ударить.

— У нас есть козыри.

— У нас есть тайна моего рождения. Пока дневник у него — он может в любой момент объявить, что я незаконная. И наш брак признают недействительным.

Алексей не подумал об этом. Он встал, подошёл к окну.

— Значит, надо забрать дневник.

— Как?

— Тайный ход. Сейф в столе. Я видел, как Стрешнев набирает код — три поворота влево, два вправо.

— Вы шпион? — спросила Анна с восхищением и ужасом.

— Я бывший штабс-капитан разведывательной команды. — Алексей улыбнулся. — Нас учили подмечать детали.

(Интересный факт: в русской армии 1840-х годов существовали «секретные экспедиции» — прообраз военной разведки. Воронов служил в одной из них, хотя официально числился в обычном полку. Он умел вскрывать конверты паром, фотографировать документы на просвет и запоминать лица с одного раза.)

Накануне свадьбы в Отрадное приехал доктор Франц

Христианович. Он привёз лекарства для крестьян (бесплатно, на свои) и — тайное письмо от Стрешнева, которое ему передали на почте.

В письме было всего три строчки: *«Воронов. Знаю, что вы читаете дневник. Верните его лично мне завтра после венчания. Иначе — последствия».

— Это угроза? — спросила Анна.

— Это паника, — ответил Бильдерлинг. — Стрешнев боится, что вы начнёте играть по своим правилам. Он привык, что все пляшут под его дудку.

— Франц Христианович, — Алексей налил доктору коньяку. — Почему вы нам помогаете? Вы ведь могли бы служить Стрешневу. Он богат, у него связи.

Бильдерлинг усмехнулся, поправил пенсне.

— Потому что я видел, как он отказал в лечении умирающему ребёнку из-за того, что отец задолжал ему три рубля. Ребёнок умер. А через неделю Стрешнев купил бриллиантовую булавку за триста. С такими людьми я не дружу. Клянусь Гиппократом и своей бородой.

Анна рассмеялась — впервые за долгое время звонко, как до смерти отца.

— Оставайтесь свидетелем, Франц Христианович. Мы вас отблагодарим.

— Мне не нужна благодарность. Мне нужен повод остаться в этой грязной губернии. С такими пациентами, как вы, — он подмигнул, — я не чувствую себя предателем клятвы.

Девятнадцатое ноября 1847 года. День начинался тихо — серое небо, редкие хлопья снега, ветер с востока. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Отрадном с утра топили печи. Старый священник отец Пафнутий, тот самый, что помнил деда Алексея, готовил аналой.

Алексей оделся в тёмно-синий сюртук, белый галстук (завязал с трёх попыток), сапоги начистил до зеркального блеска. На груди — Георгиевский крест деда (взял из тайника впервые, чувствуя тяжесть награды и ответственности).

— Ну, дедушка, — прошептал он, глядя в зеркало. — Благослови.

В дверь постучали. Ефим, разодетый в новый армяк, протянул записку.

«Воронов. Я во дворе. Выходите один. — Анна»

Он вышел на крыльцо. Анна стояла у коновязи, в тёмно-зелёном платье (не свадебном, другого не было), с цветами в руках — Ефим нарвал в оранжерее последние астры.

— Что случилось? Венчание через час.

— Я хочу сказать вам... тебе... кое-что. — Она сжимала цветы так, что побелели костяшки. — Если мы обвенчаемся, ты станешь моим мужем. А я стану твоей женой. Это значит, что я перестану быть твоей тайной и ты — моей. Но есть одна тайна, которую я обязана раскрыть до венца. Вдруг ты раздумаешь.

— Я не раздумаю.

— Не перебивай. — Она подняла глаза — влажные, ре-

шительные. — Я не только незаконнорождённая. Я... была помолвлена.

— С кем?

— С князем Волынским. Тем самым стариком. Дядя хотел выдать меня за него. Я сбежала за три дня до свадьбы. Волынский поклялся отомстить. Если он узнает, что я вышла за тебя...

— Он узнает, — спокойно сказал Алексей. — И пусть. Я не боюсь старых похотливых козлов.

— Он не просто старый козёл, — Анна заплакала. — У него связи в Третьем отделении. Он может уничтожить нас обоих.

Алексей взял её за плечи.

— Слушай меня. Мы с тобой — команда. Я — шпага, ты — кинжал. Ты умнее меня, хитрее и смелее. Вместе мы справимся с любым князем, любым дядей и любым жандармом. Хорошо?

Она уткнулась ему в грудь, всхлипнула, потом отстранилась и вытерла щёки подолом (как тогда, у колодца).

— Хорошо. Но скажи мне одно слово.

— Какое?

— Просто скажи, что ты меня любишь.

Алексей помолчал. В его полку считалось, что любовь — это слабость, что мужчина должен быть твёрдым, как булыжник. Но сейчас, глядя на неё, с астрами, с мокрыми ресницами, он понял: дед был прав. Честь — это когда тебе страшно,

а ты не бежишь. А любовь — это когда ты готов бежать куда угодно, лишь бы она была счастлива.

— Люблю, — сказал он. — До гроба. И даже дальше.

Она улыбнулась — светло, беззащитно — и поцеловала его в щёку.

— Тогда пошли. Нас ждёт Бог.

В церковь они вошли в два часа дня. Гостей было мало: Ефим, доктор Бильдерлинг, мать Анны — Елизавета Григорьевна (молчаливая тень в чёрном платке), и двое людей Стрешнева — приказчик Семён и охранник Филипп, оба с подозрительными лицами.

Стрешнев опоздал на пятнадцать минут. Вошёл в церковь, снял пальто, перекрестился шибко, как заправский богомолец. Встал в углу, скрестив руки на груди. Глаза бегали.

Отец Пафнутий начал обряд. Старый батюшка читал быстро, но с чувством — он помнил покойного Петра Ивановича, крестил Алексея, хоронил его мать. Когда дошёл до вопроса: «Имаши ли произволение доброе и непринужденное?» — Алексей ответил твёрдо: «Имам». Анна чуть замаялась, потом выдохнула: «Имам».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.